Великіе кануны.

Теорія познанія, какъ апологетика.

Современная теорія познанія, хотя она всегда сознательно ведетъ свое происхожденіе отъ Канта, въ одномъ отношеніи совершенно измѣнила завѣту своего учителя. И такъ странно—гносеологи, которые обыкновенно почти ни въ чемъ не могутъ сговориться межъ собой—какъ будто условились самое задачу теоріи познанія понимать иначе, чѣмъ Кантъ. Кантъ предпринялъ пересмотръ нашихъ познавательныхъ способностей въ цѣляхъ объясненія познанія. Это же послѣднее ему понадобилось для того, чтобы установить основанія, въ силу которыхъ однѣ изъ существующихъ наукъ можно признать, другія же—нужно отвергнуть. Въ сущности, если угодно, преимущественно ради второй цѣли. Скептицизмъ Юма безпокоилъ его только теоретически. Онъ впередъ зналъ, что какую бы теорію познанія онъ ни выдумалъ, математика и естественныя науки останутся науками, метафизика же будетъ отвергнута. Иначе говоря, онъ задавался цѣлью не оправдать науку, а объяснить возможность ея существованія,—онъ же и исходилъ изъ того, что въ математическихъ и естественно-научныхъ истинахъ никто серьезно сомнѣваться не можетъ. Сейчасъ же дѣло обстоитъ иначе. Гносеологія всѣ свои усилія направляетъ къ тому, чтобы *оправдать* научное знаніе. Для чего? Неужто научное знаніе нуждается въ оправданіи? Правда, есть такіе чудаки, иногда и геніальные чудаки, вродѣ нашего Толстого, которые нападаютъ на науку, но ихъ нападки никого не обижаютъ и не тревожатъ.

Ученые попрежнему продолжаютъ свои изслѣдованія, университеты процвѣтаютъ, открытія слѣдуютъ за открытіями. А гносеологи все не досыпаютъ ночей, подыскивая новыя оправданія для науки. И, повторяю, въ то время какъ они почти ни въ чемъ другомъ сговориться не могутъ, въ этомъ вопросѣ они поражаютъ своимъ единодушіемъ: они всѣ убѣждены, что необходимо оправдывать и возвеличивать науку. Такъ что современная теорія познанія превратилась изъ науки въ апологетику. Оттого и пріемы доказательствъ у гносеологовъ сходны. Разъ нужно защитить науку, стало быть прежде всего нужно ее хвалить, т.-е. подбирать соображенія и

данныя, указывающія на то, что наука выполняетъ ту или иную, но непремѣнно очень высокую и важную миссію. Или, наоборотъ, представить картину того, что сталось бы съ человѣчествомъ, если бы у него было отнято знаніе. Благодаря этому, апологетическій элементъ сталъ играть въ теоріи познанія почти такую же роль, какая ему отводилась до сихъ поръ въ богословіи. Пожалуй, близится то время, когда научная апологетика станетъ офиціально признанной философской дисциплиной.

Но qui s'excuse—s'accuse. Очевидно, въ наукѣ не все обстоитъ благополучно, разъ она начала оправдываться. И, затѣмъ, апологетика—апологетикой, но вѣдь рано или поздно теоріи познанія надоѣстъ питаться однимъ славословіемъ, и она потребуетъ себѣ болѣе сложной и отвѣтственной задачи, настоящаго дѣла. Сейчасъ гносеологи исходятъ изъ предположенія, что научное знаніе есть совершенное знаніе, и потому предпосылки, на которыхъ оно держится, не подлежатъ критикѣ. Законъ причинности находитъ свое оправданіе не въ томъ, что онъ является выраженіемъ дѣйствительнаго соотношенія вещей, и даже не въ томъ, что мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи данныя, которыя бы убѣждали насъ, что онъ не допускаетъ и никогда не допуститъ исключеній, т.-е. что дѣйствія безъ причины невозможны. Всего этого нѣтъ, но, говорятъ намъ, этого и не нужно.

Главное, что законъ причинности дѣлаетъ возможной науку, и, наоборотъ, отказаться отъ закона причинности значитъ отказаться отъ науки, вообще отказаться отъ всякаго знанія, предвидѣнія, по мнѣнію нѣкоторыхъ, даже отъ разума. Ясно, что если приходится выбирать между не совсѣмъ основательнымъ допущеніемъ, съ одной стороны, и перспективой хаоса и безумія—съ другой, задумываться не приходится. Апологетика, какъ видите, подобрала сильнѣйшія argumenta ad hominem. Но всѣ такого рода argumenta имѣютъ одинъ общій недостатокъ: они непостоянны, они о двухъ концахъ.

Сегодня они говорятъ за научное знаніе, завтра—противъ него. И, въ самомъ дѣлѣ, бываетъ такъ, что именно вѣра въ законъ причинности рождаетъ въ душѣ то великое безпокойство и смятеніе, которое даетъ въ результатѣ всѣ ужасы хаоса и безумія. Увѣренность въ неизмѣнности существующаго порядка въ извѣстныхъ случаяхъ прямо равнозначуща увѣренности въ безсмысленности и нелѣпости жизни. Вѣроятно, такое чувство испытали ученики Христа, когда до нихъ донеслись съ креста послѣднія слова ихъ распятаго учителя: Господи, отчего ты покинулъ меня. И современные гносеологи могутъ торжествовать, когда законъ причинности оказался опорой хаоса и безумія—онъ ipso facto былъ отмѣненъ: Христосъ воскресъ, говорятъ намъ ученики Христа.

Я сказалъ, что гносеологи могутъ торжествовать, но я долженъ признаться, что ни у одного гносеолога я не встрѣтилъ открытаго торжества по поводу столь явнаго доказательства истинности ихъ ученія. О воскресеніи Христа они совсѣмъ не говорятъ,—наоборотъ, оно ими всячески обходится и замалчивается. И это обстоятельство заставляетъ насъ остано-

виться и призадуматься. Возникаетъ дилемма: признаешь, что законъ причинности не терпитъ исключеній,—твою душу будутъ вѣчно преслѣдовать послѣднія слова распятаго Христа; не признаешь—у тебя не будетъ науки. Одни утверждаютъ, что нельзя жить безъ науки, безъ знанія, что такая жизнь есть ужасъ и безуміе; другіе не могутъ примириться съ мыслью, что совершеннѣйшій изъ людей погибъ смертью разбойника. Какъ быть? Безъ чего, въ самомъ дѣлѣ, нельзя жить человѣку? Безъ научнаго знанія или безъ убѣжденія, что правда и духовное совершенство въ послѣднемъ счетѣ выходятъ побѣдителями въ мірѣ? И какое положеніе по отношенію къ этимъ вопросамъ займетъ теорія познанія?

Попрежнему будетъ она продолжать свои апологетическія упражненія или пойметъ, наконецъ, что не въ этомъ ея настоящая задача и что, если она хочетъ сохранить за собой право называться философіей, то ей придется не оправдывать и прославлять существующее знаніе, а провѣрять и направлять его. Значитъ, прежде всего поставить вопросъ: дѣйствительно ли научное знаніе совершенно, или, быть, можетъ, оно несовершенно и въ силу этого должно уступить нынѣ занимаемое имъ почетное мѣсто иному знанію. Это, повидимому, самый главный вопросъ теоріи познанія, и этого вопроса она никогда не ставитъ. Она хочетъ прославлять существующую науку, она была, есть и, вѣрно, долго еще будетъ апологетикой...

Истина и польза.

Миллъ, въ доказательство того, что всѣ наши знанія, даже математическія, имѣютъ эмпирическое происхожденіе, приводитъ слѣдующее соображеніе: если бы каждый разъ, когда намъ приходилось брать дважды по два предмета, какое-нибудь божество подсовывало бы еще одинъ предметъ, то мы были бы убѣждены, что дважды два—не четыре, а пять. И вѣдь Миллъ, пожалуй, правъ: пожалуй, мы не догадались бы, въ чемъ тутъ дѣло. Мы гораздо болѣе озабочены тѣмъ, чтобы выяснять практически нужное намъ, непосредственно полезное, чѣмъ отысканіемъ истины. Если бы божество подсовывало намъ при каждыхъ четырехъ предметахъ пятый, мы бы принимали его и считали бы, что это естественно, понятно, необходимо, что иначе даже быть не можетъ. Вѣдь, въ сущности, все въ этомъ мірѣ подсунуто намъ божествомъ, и тѣмъ не менѣе никто не удивляется, большинство все понимаетъ, и все объясняетъ. Вѣдь сама правильность въ слѣдованіи явленій, наблюдаемая эмпириками, тоже подсунута намъ. Кѣмъ? Когда? Кому охота спрашивать? Разъ законъ установленъ—никто не интересуется больше ничѣмъ: уже можно предсказывать будущее, можно пользоваться подсунутымъ, готовымъ, а все прочее отъ лукаваго.

Философы и учителя.

Шопенгауэра, какъ извѣстно, долгое время не только не признавали, но и не читали: его сочиненія шли на макулатуру; только подъ конецъ

жизни у него появились читатели и даже поклонники. И, разумѣется, критики. Ибо каждый поклонникъ въ сущности самый безжалостный и назойливый критикъ. Все ему нужно понять, все согласовать, и, конечно, нужныя объясненія обязанъ дать учитель. Шопенгауэръ, до старости не имѣвшій учительскаго опыта, сначала очень благосклонно отнесся къ вопросамъ учениковъ и терпѣливо давалъ требуемыя объясненія. Но чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Всеподданнѣйшія недоумѣнія учениковъ становились все назойливѣе и назойливѣе, такъ что старикъ, наконецъ, вышелъ изъ себя. «Я отнюдь не подрядился объяснять каждому желающему всѣ тайны мірозданія»,—воскликнулъ онъ однажды, когда одинъ изъ учениковъ слишкомъ настойчиво подчеркнулъ замѣченныя имъ у Шопенгауэра противорѣчія. И точно,—развѣ учитель обязанъ все объяснять? И развѣ задача философа въ томъ, чтобы объяснять? Иначе говоря, развѣ философъ можетъ быть учителемъ? Въ словахъ Шопенгауэра данъ намъ отвѣтъ, отнюдь не двусмысленный. Философъ не только не можетъ, но и не хочетъ быть учителемъ. Учителя бываютъ въ гимназіяхъ, въ университетахъ—они преподаютъ ариѳметику, грамматику, логику, метафизику. У философа же совсѣмъ иное дѣло, нисколько на учительство не похожее.

Истина, какъ соціальная субстанція.

Есть много способовъ, истинныхъ или воображаемыхъ, для объективной провѣрки философскихъ сужденій. Но всѣ они сводятся, какъ извѣстно, къ пробѣ посредствомъ закона противорѣчій. Правда, всѣ знаютъ, что ни одно философское ученіе такой пробы не можетъ выдержать, такъ что, въ ожиданіи лучшаго будущаго, пока считаютъ возможнымъ проявлять при провѣркѣ нѣкоторую снисходительность. Обыкновенно удовлетворяются, если приходятъ къ убѣжденію, что философъ искренно старался избѣгать противорѣчій. Разъ добрая воля налицо, на противорѣчія смотрятъ сквозь пальцы и въ философіи ищутъ другихъ качествъ. Спинозѣ, наприм., прощаютъ непослѣдовательность за его amor intellectualis dei, Канту—за его любовь къ нравственности и прославленіе безкорыстія, Платону—за оригинальность и чистоту идеалистическихъ порывовъ, Аристотелю—за обширность и всеобъемлемость его познаній и т. д. Такъ что, собственно говоря, нужно признаться, что у насъ настоящаго, объективнаго способа провѣрки философской истины нѣтъ, и когда мы критикуемъ чужія системы, мы, въ концѣ-концовъ, судимъ произвольно. Подходитъ почему-либо намъ философъ, мы не безпокоимъ его закономъ противорѣчія, не подходитъ—мы привлекаемъ его къ отвѣтственности по всей строгости закона, впередъ увѣренные, что онъ окажется кругомъ виноватымъ. Но вѣдь иной разъ является охота провѣрить свои собственныя философскія убѣжденія. Продѣлывать надъ ними комедію объективной провѣрки, искать у самого себя противорѣчій,—даже нѣмцы, я полагаю, на это не способны. А всетаки вѣдь хочется знать, располагаешь ли ты, въ самомъ дѣлѣ, истиной, или въ твоихъ рукахъ только общеобязательное

заблужденіе. Какъ быть? По мнѣ, есть способъ: нужно представить себѣ, что твоя истина безусловно не можетъ быть ни для кого обязательной. Вотъ если, несмотря на то, ты все же отъ нея не откажешься, если истина выдержитъ такое испытаніе и останется для тебя тѣмъ же, чѣмъ была раньше, нужно думать, что она чего-нибудь да стоитъ. А то вѣдь часто мы цѣнимъ убѣжденіе не потому, что оно имѣетъ внутреннюю цѣнность, а потому, что оно имѣетъ хорошій сбытъ на рынкѣ. Робинзонъ, вѣроятно, совершенно иначе размышлялъ, чѣмъ современный писатель или профессоръ, сочиненія котораго подвергаются оцѣнкѣ его многочисленными коллегами, которые могутъ создать ему славу мудреца и ученаго или совсѣмъ погубить его репутацію. Даже у грековъ, которыхъ мы привыкли считать образцовыми мыслителями, всѣ сужденія имѣли, выражаясь языкомъ политической экономіи, не столько потребительную, сколько мѣновую цѣнность.

Греки не знали книгопечатанія и у нихъ не было библіографическихъ журналовъ,—но обыкновенно они свою мудрость выносили на площадь и прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы склонить людей къ признанію ея цѣнности. И трудно допустить, чтобы мудрость, постоянно выходящая къ людямъ, не приспособлялась къ человѣческимъ вкусамъ. Вѣрнѣе, она привыкала лишь постольку цѣнить себя, поскольку она могла разсчитывать на оцѣнку людей. Иначе говоря, цѣнность мудрости, какъ и всѣхъ прочихъ товаровъ, не только у насъ, но уже у древнихъ, оказывается соціальной субстанціей. Новѣйшая философія даже перестала скрывать это. Телеологическая точка зрѣнія какъ у раціоналистовъ, примыкающихъ къ Фихте, такъ и у прагматистовъ, считающихъ себя преемниками Милля, открыто становится на общественную точку зрѣнія и говоритъ о соборномъ творчествѣ. Истина, которая не годится для всѣхъ и всегда, на внутреннихъ и на внѣшнихъ рынкахъ,—не есть истина. Пожалуй, даже цѣнность ея опредѣляется количествомъ вложеннаго въ нее труда. Марксъ могъ бы торжествовать: его теорія подъ разными флагами нашла себѣ доступъ во всѣ сферы современнаго мышленія. Едва ли найдется хоть одинъ философъ, который бы согласился примѣнить предлагаемый мною способъ провѣрки истины. И едва ли бы нашлась хоть одна современная идея, которая бы выдержала эту пробу.

Ученіе и выводы.

Если вы хотите погубить новую мысль—постарайтесь ей дать наивозможно широкое распространеніе. Люди начнутъ вдумываться въ нее, примѣрять ее къ своимъ текущимъ нуждамъ, истолковывать, дѣлать изъ нея выводы, словомъ, втиснутъ ее въ свой готовый логическій аппаратъ, или, точнѣе, завалятъ ее обломками собственныхъ привычныхъ, понятныхъ мыслей—и она станетъ такой же мертвой, какъ и все, что порождается логикой. Можетъ быть, этимъ объясняется стремленіе философовъ облекать свои мысли въ такую форму, которая затрудняетъ доступъ къ нимъ боль-

шой публикѣ. Большинство философскихъ системъ запутанно и неясно изложены, такъ что не всякій образованный человѣкъ можетъ разобраться въ нихъ. Жаль губить свое дѣтище, и всякій, какъ можетъ, оберегаетъ его отъ преждевременной смерти. Для мысли опаснѣе всего «выводы», якобы само собою разумѣющіеся. Она вовсе ихъ не предполагаетъ, ихъ ей обыкновенно навязываютъ. И, въ самомъ дѣлѣ, очень часто говорятъ: всѣмъ бы хороша мысль, но она приводитъ къ выводамъ, абсолютно непріемлемымъ. И, наоборотъ, какъ часто философу приходится присутствовать при печальномъ зрѣлищѣ: ученики его покидаютъ всѣ его мысли и питаются лишь одними выводами изъ нихъ. Всякій мыслитель, который имѣлъ несчастье еще при жизни обратить на себя вниманіе, по собственному опыту знаетъ, что̀ такое «выводы». И всетаки рѣдко у кого вы встрѣтите мужественный и открытый отпоръ противъ продолжателей его дѣла. И еще рѣже найдется философъ, который бы прямо заявилъ, что его дѣло̀ не требуетъ продолженія, что оно даже не̇ выноситъ продолженія, существуетъ только an und für sich, довлѣетъ себѣ. Да, если бы кто-нибудь сказалъ это, что бы отвѣтили ему? Спорить бы не стали—подите-ка, поспорьте съ человѣкомъ, который не хочетъ ни спорить, ни доказывать.

Единственный отвѣтъ—это призывъ къ народному суду, къ суду Линча. Люди настолько слабы и наивны, что въ каждомъ философѣ хотятъ во что бы то ни стало видѣть учителя въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Они хотятъ, иначе говоря, всецѣло перевалить на него отвѣтственность за свои поступки, за свое настоящее, будущее, за всю свою судьбу. Вѣдь Сократа казнили не за его ученіе, а за то, что, по мнѣнію грековъ, онъ былъ опасенъ для Аѳинъ. И во всѣ времена съ этимъ критеріемъ подходили къ истинѣ. Точно и въ самомъ дѣлѣ впередъ извѣстно, что истина должна быть полезной и предохранять отъ опасностей.

Одно изъ величайшихъ ученій—христіанство, преслѣдовалось тоже потому, что оно казалось непризваннымъ охранителямъ опаснымъ. Если угодно, оно даже и на самомъ дѣлѣ было очень опасно для римскихъ идеаловъ. Конечно, ни смерть Сократа, ни смерти тысячъ первохристіанъ не оберегли древнюю культуру и государственность отъ разложенія, но этотъ урокъ никого ничему не научилъ. Люди думаютъ, что все это были случайныя ошибки, отъ которыхъ встарину никто не былъ застрахованъ, но которыя уже болѣе не повторятся, а потому попрежнему продолжаютъ изъ каждой истины дѣлать «выводы» и по полученнымъ выводамъ судить объ истинѣ. И несутъ достойное наказаніе: несмотря на то, что на землѣ было немало мудрецовъ, которые знали многое такое, что гораздо цѣннѣе всѣхъ тѣхъ сокровищъ, ради которыхъ люди готовы идти даже на смерть, мудрость оказывается для насъ книгой за семью печатями, не дающимся въ руки кладомъ. Многіе, огромное большинство, даже серьезно увѣрены, что философія есть скучнѣйшее и мучительнѣйшее занятіе, на которое обречены нѣкоторые несчастные, имѣющіе privilegium odiosum называться философами. Мнѣ кажется, что нерѣдко даже профессора фило-

софіи—изъ тѣхъ, которые «поумнѣе»—раздѣляютъ такое мнѣніе и даже полагаютъ, что въ этомъ послѣдняя, извѣстная только посвященнымъ, тайна ихъ «науки». Но, къ счастью, дѣло обстоитъ иначе. Можетъ быть, человѣчеству не суждено въ этомъ отношеніи никогда измѣниться, можетъ быть и черезъ тысячу лѣтъ люди будутъ гораздо болѣе дорожить «выводами», теоретическими и практическими, изъ истины, чѣмъ самой истиной,—настоящимъ философамъ, т.-е. людямъ, знающимъ, что имъ нужно и чего они добиваются, это врядъ ли помѣшаетъ. Они попрежнему будутъ высказывать свои истины, нисколько не справляясь о томъ, какія заключенія сдѣлаютъ изъ ихъ истинъ любители логики.

Доказанныя и недоказанныя истины.

Откуда явилась у насъ привычка требовать по поводу каждой высказанной мысли доказательствъ? Если откинуть то соображеніе (въ данномъ случаѣ оно для насъ рѣшающаго значенія не имѣетъ), что люди часто нарочно обманываютъ своихъ ближнихъ изъ корысти или ради иныхъ выгодъ, то, собственно говоря, надобность въ доказательствахъ совершенно устраняется. Правда, возможенъ еще самообманъ, собственныя невольныя заблужденія. Иной разъ принимаешь призракъ за дѣйствительность—хочется оберечь себя отъ такой обидной ошибки. Но какъ только возможность добросовѣстнаго заблужденія устранена,—доказательства ipso facto становятся ненужными. И тогда уже можно просто разсказывать, безъ всякихъ доводовъ, разсужденій и ссылокъ. Хотите—вѣрьте, хотите—нѣтъ. И есть одна область—какъ разъ та, которая всегда особенно влекла къ себѣ наиболѣе замѣчательныхъ представителей человѣческаго рода, гдѣ какъ разъ доказательства, по общему признанію, и невозможны. Насъ учили до сихъ поръ, что о томъ, чего доказать нельзя, и говорить не слѣдуетъ. Хуже того, мы такъ устроили свой языкъ, что, собственно говоря, все, что бы мы ни сказали, мы высказываемъ въ формѣ сужденія, т.-е. въ такой формѣ, которая предполагаетъ не только возможность, но и необходимость доказательствъ. Можетъ быть, поэтому-то метафизика и служила постояннымъ предметомъ нападокъ. Утверждать она утверждаетъ, а доказать не можетъ. Кстати сказать, метафизика, повидимому, не только не могла найти такой формы выраженія для своихъ истинъ, которая освобождала бы ее отъ обязанности доказывать, но и не хотѣла этого. Она себя считала наукой по преимуществу и потому полагала, что ей еще больше и строже, чѣмъ другимъ наукамъ, необходимо доказывать тѣ сужденія, которыя она приняла подъ свою защиту. Ей представлялось, что, откажись она отъ обязанности доказывать, она потеряетъ и всѣ права свои. И въ этомъ, нужно думать, была ея роковая ошибка. Соотвѣтствіе правъ и обязанностей есть, можетъ быть, кардинальная истина (лучше сказать, кардинальная фикція) ученія о правѣ, но въ сферу философіи она занесена по недоразумѣнію. Тутъ, скорѣе, господствуетъ противоположный принципъ: права обратно пропорціональны обязанностямъ. И тамъ лишь, гдѣ

прекращаются всѣ обязанности, пріобрѣтается величайшее, важнѣйшее суверенное право—право общенія съ послѣдними истинами. Причемъ ни на минуту не надо забывать, что послѣднія истины не имѣютъ почти ничего общаго съ истинами серединными, логическую конструкцію которыхъ мы такъ тщательно и добросовѣстно изучаемъ въ теченіе вотъ уже болѣе двухъ тысячелѣтій. Основное отличіе ихъ въ томъ, что первыя абсолютно непонятны. Непонятны, подчеркиваю—однако не недоступны. Правда, серединныя истины тоже, собственно говоря, непонятны. Кто станетъ утверждать, что онъ понимаетъ свѣтъ, теплоту, боль, гордость, радость, униженіе?

Но все же нашъ разумъ въ союзѣ съ всепобѣждающей привычкой придалъ, при помощи нѣкоторыхъ натяжекъ, совокупности явленій въ предѣлахъ доступнаго намъ отрѣзка вселенской жизни нѣкій видъ гармоніи и единства, и это съ незапамятныхъ временъ слыветъ подъ именемъ понятнаго объясненія мірозданія. Но извѣстный, т.-е. привычный, міръ въ достаточной мѣрѣ непонятенъ, такъ что добросовѣстность требуетъ признать непонятность основнымъ предикатомъ бытія. Нельзя разсуждать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, что мы не понимаемъ міра только потому, что отъ насъ кое-что скрыто или что нашъ разумъ слабъ, такъ что, если бы высшее существо захотѣло намъ раскрыть тайну мірозданія или, если въ теченіе слѣдующаго милліарда лѣтъ у человѣка такъ разовьется мозгъ, что онъ будетъ превосходить насъ настолько же, насколько мы превосходимъ нашего офиціальнаго предка—обезьяну,—то міръ станетъ понятнымъ. Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! По самому существу тѣ операціи, которыя мы продѣлываемъ надъ дѣйствительностью, чтобы понять ее, полезны и нужны только до тѣхъ поръ, пока онѣ не переходятъ за извѣстный предѣлъ. Можно «понять» устройство локомотива. Законно также искать объясненія солнечнаго затменія или землетрясенія. Но наступаетъ моментъ—мы только не можемъ точно опредѣлить его—когда объясненія теряютъ всякій смыслъ и ни для чего больше не нужны. Похоже на то, будто насъ ведутъ на веревочкѣ закона достаточнаго основанія до извѣстнаго мѣста съ тѣмъ, чтобы потомъ бросить: куда хотите, туда идите. Мы же до такой степени привыкаемъ за нашу долгую жизнь къ веревочкѣ, что начинаемъ вѣрить, что она относится къ самой сущности міра; что въ веревочкѣ, какъ таковой, великая тайна, тайна всѣхъ тайнъ. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ мыслителей, Спиноза, думалъ, что даже самъ Богъ связанъ необходимостью.

Пусть каждый внимательно всмотрится въ себя, и онъ убѣдится, что не можетъ не только мыслить, но почти даже существовать безъ спинозовскаго предположенія. Дѣло Юма, такъ блестяще оспорившаго предпосылку о причинной необходимости, было наполовину только сдѣлано: нельзя доказать, что существуетъ необходимая связь—это онъ выяснилъ. Но вѣдь нельзя доказать и противоположнаго утвержденія. Въ результатѣ все осталось по-старому: Кантъ, а за Кантомъ все человѣчество вернулось на позицію Спинозы. Свободу загнали въ интеллигибельный міръ—

страну безвѣстную, откуда путникъ не возвращался къ намъ, и все по-прежнему стоитъ на своемъ мѣстѣ: философія во что бы то ни стало хочетъ быть наукою. Ей это безусловно не удается, но цѣну, которую она отдала за право называться наукой, ей уже не возвращаютъ. Она отказалась отъ права искать гдѣ угодно, что ей нужно, и право это у ней, повидимому, навсегда отнято. Да нужно ли оно ей было? Если вы взглянете на современную нѣмецкую философію, вы, не колеблясь, скажете, *что и не нужно было*. Не *по ошибкѣ* и *даже* не въ погонѣ за новымъ чиномъ отказалась она отъ своего великаго призванія—оно стало для нея невыносимымъ бременемъ. Какъ ни трудно въ этомъ признаться, но вѣдь несомнѣнно, что великія тайны мірозданія не могутъ быть выявлены съ той ясностью и отчетливостью, съ которой намъ открывается видимый и осязаемый міръ. Не только другихъ—самого себя ты не убѣдишь въ своей истинѣ съ той очевидностью, съ какой удается убѣдить всѣхъ безъ исключенія въ истинахъ научныхъ.

Откровенія—если они и бываютъ—суть всегда откровенія на мгновеніе. Магометъ, объясняетъ Достоевскій, если ему и удавалось попадать въ рай, могъ оставаться тамъ самое непродолжительное время, отъ полусекунды до пяти секундъ. И самъ Достоевскій тоже попадалъ въ рай лишь на мгновеніе. А здѣсь, на землѣ, оба они жили годами, десятилѣтіями, и аду земного существованія, казалось, не было конца. Адъ былъ очевиденъ, доказуемъ, его можно было фиксировать, демонстрировать ad oculus. А какъ доказать рай? Какъ фиксировать, какъ выявить эти полусекунды райскаго блаженства, которыя съ внѣшней стороны выражались въ формѣ безобразныхъ и страшныхъ эпилептическихъ припадковъ съ конвульсіями, судорогами, пѣной у рта, иногда, при неудачномъ, неожиданномъ паденіи, и съ кровью?! Опять-таки хотите—вѣрьте, хотите—нѣтъ. А вѣдь человѣкъ, живущій то въ раю, то въ аду, воспринимаетъ жизнь до такой степени иначе, чѣмъ другіе люди! И хочетъ думать, что онъ правъ, что его опытъ имѣетъ бо́льшую цѣнность, что жизнь вовсе не такова, какъ ее изображаютъ люди иного опыта и болѣе ограниченныхъ переживаній. Какъ хотѣлъ Достоевскій убѣдить всѣхъ въ своей правотѣ, какъ упорно доказывалъ онъ и какъ сердился отъ жившаго въ глубинѣ его души сознанія, что онъ безсиленъ что бы то ни было доказать. Но фактъ остается фактомъ. Эпилептики и сумасшедшіе, можетъ быть, знаютъ такія вещи, о которыхъ нормальные люди не имѣютъ даже отдаленнаго предчувствія, но сообщить свои знанія другимъ, доказать ихъ—имъ не дано. И вообще есть знаніе—оно-то и является предметомъ философскихъ исканій—котораго можно пріобщиться, но которое по самому существу нельзя передать всѣмъ, т.-е. обратить въ провѣренныя и доказанныя, общеобязательныя истины. Отказаться отъ него ради того, чтобы философія получила право называться наукой? Иногда люди такъ и поступали. Были трезвыя эпохи, когда погоня за положительнымъ знаніемъ поглощала всѣхъ, кто былъ способенъ къ духовной работѣ. Или, можетъ быть, это были такія эпохи, когда

люди, искавшіе чего-либо иного, кромѣ положительныхъ знаній, были осуждены на всеобщее презрѣніе и проходили незамѣченными: въ такія времена Платонъ не встрѣтилъ бы сочувствія и умеръ бы въ неизвѣстности. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно одно: тотъ, у кого интересъ къ недоказуемымъ истинамъ является преобладающимъ интересомъ и главнымъ двигателемъ жизни, осужденъ на полное или относительное «безплодіе» въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно понимается это слово. Если онъ умный и даровитый человѣкъ, можетъ быть, заинтересуются его умомъ и дарованіемъ, но мимо его дѣла пройдутъ съ равнодушіемъ, презрѣніемъ или даже ужасомъ. И станутъ предостерегать противъ него:

Смотрите-жъ, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ,
Какъ презираютъ всѣ его.

Развѣ дѣло пророковъ, искавшихъ послѣднихъ истинъ, не было безплоднымъ, ненужнымъ дѣломъ? Развѣ жизнь считалась съ ними? Жизнь шла своимъ чередомъ, и голоса пророковъ были, есть и будутъ голосами вопіющихъ въ пустынѣ. Ибо то, что они видятъ, что они знаютъ—не можетъ быть доказано и доказательству не подлежитъ. Пророки были всегда уединенными, оторванными, отрѣзанными, безсильными въ своей замкнутой гордости людьми. Пророки—это короли безъ арміи. При всей своей любви къ подданнымъ—они для нихъ ничего не могутъ сдѣлать, ибо подданные чтутъ только королей, обладающихъ грозной военной силой. И—да будетъ такъ.

Предѣлы дѣйствительности.

Самый послѣдовательный и убѣжденный реалистъ въ концѣ-концовъ не представляетъ себѣ жизнь такою, какой она на самомъ дѣлѣ является. Многое онъ просматриваетъ и, наоборотъ, часто видитъ такое, чего совсѣмъ и нѣтъ въ дѣйствительности. Думаю, что нѣтъ надобности пояснять это примѣромъ. При всемъ нашемъ желаніи быть объективными, мы въ концѣ-концовъ крайне субъективны, и то, что Кантъ называетъ синтетическими сужденіями a priori, посредствомъ которыхъ нашъ разумъ формируетъ природу и диктуетъ ей законы, играетъ въ нашей жизни большую и очень серьезную роль. Мы создаемъ нѣчто вродѣ покрывала Майи, т.-е. мы бодрствуемъ во снѣ и спимъ наяву, точно какая-то волшебная сила заворожила насъ. И, какъ это бываетъ во снѣ, мы мгновеніями чувствуемъ, что то, что съ нами происходитъ, есть нѣчто вродѣ полусна, половинная, ненастоящая жизнь. Шопенгауэръ и буддисты были правы, утверждая, что о покрывалѣ Майи, т.-е. о доступномъ намъ мірѣ, одинаково неправильно говорить, что онъ существуетъ и что онъ не существуетъ. Правда, логика не допускаетъ такихъ сужденій и воздвигаетъ противъ нихъ упорнѣйшія гоненія, ибо они нарушаютъ одинъ изъ основныхъ ея законовъ. Но ничего не подѣлаешь: когда приходится выбирать между философіей, заман-

чивой и многообѣщающей, и безсодержательной логикой, всегда пожертвуешь послѣдней ради первой. Философія же безъ противорѣчивыхъ сужденій либо была бы осуждена на вѣчное молчаніе, либо обратилась бы въ тину общихъ мѣстъ и сведена на нѣтъ: философы это знаютъ. Въ нашемъ случаѣ то же: нужно признать, что мы одновременно и бодрствуемъ и видимъ сны, нужно даже бываетъ иногда признать, что хотя мы еще и живемъ, но уже давно умерли. И вотъ въ качествѣ живыхъ мы все еще держимся принятыхъ синтетическихъ сужденій a priori, въ качествѣ умершихъ мы пытаемся обойтись безъ нихъ или на ихъ мѣсто поставить иныя сужденія, часто ничего общаго съ ними не имѣющія, даже имъ противоположныя. Философія чрезвычайно старательно занимается этимъ дѣломъ—и *въ этомъ, только въ этомъ* смыслъ того идеалистическаго теченія, которое, начиная съ Платона, никогда не исчезало изъ исторіи. Не въ томъ дѣло, чтобы вмѣсто видимаго и доступнаго всѣмъ, такъ называемаго реалистическаго міра найти иной, изначальный, лучшій и вѣчный міръ—какъ обыкновенно истолковываютъ идеалистическую философію ея офиціальные и, къ сожалѣнію, наиболѣе вліятельные представители. Такого рода толкованія носятъ на себѣ слишкомъ явные слѣды ихъ эмпирическаго, утилитарнаго происхожденія—они такъ же мало подводятъ къ сверхъэмпирическому бытію, какъ и тѣ понятія, которыми мы опредѣляемъ цѣнное въ жизни. Съ такимъ же правомъ можно было бы считать сверхъэмпирическій міръ золотымъ, брилліантовымъ, жемчужнымъ—все потому, что золото, брилліанты и жемчугъ въ большой цѣнѣ. Да такъ обыкновенно и бываетъ. Даже Бога обыкновенно представляютъ себѣ сверкающимъ золотомъ и драгоцѣнными камнями, могучимъ, всезнающимъ и т. д. Его называютъ царемъ царей, ибо удѣлъ вѣнценосцевъ на землѣ считается наиболѣе завиднымъ. Смыслъ и значеніе идеалистической философіи видятъ въ томъ, что она навѣки закрѣпляетъ все то, что мы за время нашего короткаго существованія нашли цѣннаго на землѣ. Въ этомъ, по-моему, роковое заблужденіе. Идеалистическая философія, правда, дала поводъ ложно истолковывать себя, ибо любила наряжаться въ пышныя, парадныя одежды. Даже и религія у всѣхъ почти народовъ всегда искала для себя внѣшне красивыхъ формъ, не останавливаясь даже передъ такимъ очевиднымъ парадоксомъ (чтобы не сказать болѣе), какъ золотой, украшенный брилліантами крестъ. И за парадными словами и золотыми крестами люди просматривали великія истины, быть можетъ,—великія возможности. Школьная философія тоже любила наряжаться, думая, что ей нельзя отставать въ этомъ отношеніи отъ учителей, и за нарядами часто забывала о своемъ насущномъ дѣлѣ. Платонъ училъ, что наша жизнь есть только тѣнь отъ иной дѣйствительности. Если это вѣрно, если онъ открылъ истину, то вѣдь первая задача наша начать жить иной жизнью, повернуться спиной къ стѣнѣ, по которой ходятъ тѣни, и обратиться лицомъ къ тому источнику свѣта, который породилъ тѣни, или къ тѣмъ предметамъ, о которыхъ видимые силуэты даютъ лишь отдаленное представленіе. Нужно проснуться хоть отчасти, а для этого нужно дѣлать

то, что дѣлаютъ съ глубоко уснувшимъ человѣкомъ: нужно тормошить его, щипать, бить, щекотать, нужно, можетъ быть, если все это не дѣйствуетъ, прибѣгнуть къ еще болѣе сильнымъ, къ героическимъ средствамъ. Во всякомъ случаѣ, никакъ нельзя рекомендовать созерцаніе, которое способно еще болѣе усыпить человѣка, и покой, который приводитъ къ тѣмъ же результатамъ. Философія должна жить сарказмами, насмѣшками, тревогой, борьбой, недоумѣніями, отчаяніемъ, великими надеждами и разрѣшать себѣ созерцаніе и покой только отъ времени до времени, для передышки. И тогда, можетъ быть, ей удастся, на-ряду съ реалистическими сновидѣніями, создать сновидѣнія совсѣмъ иного порядка, которыя бы имѣли уже ту цѣнность, что воочію наглядно показали бы, что общепризнанныя сновидѣнія не есть единственно возможныя. Для какой цѣли? Полагаю, на этотъ вопросъ можно и не отвѣчать: кто предлагаетъ его, этимъ самымъ показываетъ, что ему ни отвѣтъ, ни такая философія не нужны. А кому нужно, тотъ спрашивать не станетъ и терпѣливо будетъ ждать событій: 40-градусной температуры, эпилептическаго припадка или чего-нибудь въ такомъ же родѣ, что облегчаетъ трудную задачу исканія...

Данное и возможное.

Законъ причинности, какъ эвристическій принципъ—превосходная вещь; существующія науки въ достаточной степени убѣждаютъ насъ въ этомъ. Но, какъ идея (въ Платоновскомъ смыслѣ), онъ мало чего стóитъ, по крайней мѣрѣ, порою. Строгая гармонія и порядокъ въ мірѣ очаровывали многихъ людей: такіе великаны мысли, какъ Спиноза и Гёте, останавливались съ благоговѣйнымъ удивленіемъ въ созерцаніи великаго и неизмѣннаго порядка въ природѣ. И даже возводили, поэтому, необходимость въ санъ изначальнаго, вѣчнаго, премірнаго принципа. И нужно признаться, что міросозерцаніе Гёте и Спинозы живетъ въ каждомъ изъ насъ, что большей частью мы можемъ любить и чтить міръ лишь тогда, когда душа наша чувствуетъ въ немъ стройную гармонію. Гармонія кажется намъ одновременно и величайшей цѣнностью и послѣдней истиной. Она даетъ душѣ великій покой, твердую устойчивость, довѣріе къ творцу, т.-е. высшія, какъ учатъ философы, блага, доступныя смертнымъ. И, тѣмъ не менѣе, бываютъ иные порывы. Человѣческимъ сердцемъ внезапно овладѣваетъ тоска по фантастическому, непредвидѣнному, не допускающему предвидѣнія. Прекрасный міръ теряетъ свою красоту, душевный покой кажется позорнымъ, прочность ощущается, какъ невыносимая тяжесть. Подобно тому, какъ возмужавшій юноша вдругъ начинаетъ мучительно тяготиться благодѣтельной, такъ много ему давшей родительской опекой—хотя не знаетъ, что дѣлать со своей свободой—прозрѣвшій человѣкъ стыдится даннаго ему, кѣмъ-то созданнаго благополучія. Законъ причинности, какъ и вся міровая гармонія, кажется ему пріятнымъ, облегчающимъ жизнь, но унизительнымъ даромъ. За покой, за радости ничѣмъ невозмутимой жизни онъ отдалъ право своего первородства, великое право свободнаго творчества. Онъ не

понимаетъ, какъ великанъ Гёте могъ прельститься соблазнами пріятной жизни, онъ заподазриваетъ искренность Спинозы. Нечисто что-то въ датскомъ королевствѣ! Яблоко съ дерева познанія добра и зла, хотя бы путь къ нему шелъ черезъ величайшія муки, становится единственною цѣлью его жизни...

И, странно, какъ будто сама природа озабочена тѣмъ, чтобы толкать человѣка на этотъ безумный, роковой путь. Наступаетъ въ нашей жизни пора, когда какой-то повелительный тайный голосъ запрещаетъ намъ радоваться красотѣ и величію мірозданія. Міръ попрежнему манитъ насъ, но уже не даетъ чистой радости. Вспомните Чехова. Какъ любилъ онъ природу, и какое безмѣрное чувство тоски слышится въ его дивныхъ описаніяхъ природы. Точно каждый разъ, когда онъ взглянетъ на голубое небо, волнующееся море или зеленый лѣсъ, кто-то властнымъ голосомъ шепчетъ ему: все это уже не твое, ты еще можешь все это видѣть, но ты уже не въ правѣ этому радоваться. Ты еще живъ, но ты уже умеръ для этой жизни. Готовься къ иному бытію, гдѣ не будетъ даннаго, законченнаго, готоваго, гдѣ не будетъ сотвореннаго, гдѣ будетъ одно безпредѣльное творчество. А все, что есть въ этомъ мірѣ, подлежитъ разрушенію, разрушенію и разрушенію, даже эта природа, которую ты такъ страстно любишь и отъ которой тебѣ такъ трудно и такъ больно отказаться. Все толкаетъ насъ въ таинственную область вѣчно фантастическаго, вѣчно безпорядочнаго и, быть можетъ, кто знаетъ?... вѣчно прекраснаго...

Опытъ и доказательства.

Когда Декарту пришло въ голову его cogito ergo sum, онъ отмѣтилъ этотъ день—10 ноября 1619 года—какъ день замѣчательный: меня осѣнилъ, записалъ онъ въ дневникѣ, свѣтъ удивительнаго открытія. То же разсказываетъ про себя и Шеллингъ: въ 1801 году онъ «узрѣлъ свѣтъ». И съ Ницше, когда онъ бродилъ по горамъ и долинамъ Энгадина, произошла великая метаморфоза: онъ постигъ свое вѣчное возвращеніе. Можно было бы назвать много философовъ, поэтовъ, художниковъ, проповѣдниковъ, которые, подобно названнымъ тремъ, внезапно прозрѣвали и свое прозрѣніе считали началомъ новой жизни. Вѣроятно даже, что всѣ безъ исключенія люди, которымъ суждено было явить міру нѣчто совершенно новое и оригинальное, испытывали чудо такой мгновенной метаморфозы. И тѣмъ не менѣе хотя объ этихъ чудесахъ много и часто говорится—во всѣхъ почти біографіяхъ великихъ людей—мы, собственно, не умѣемъ изъ нихъ сдѣлать никакого употребленія. Декартъ, Шеллингъ, Ницше повѣствуютъ о своихъ превращеніяхъ, у насъ Толстой и Достоевскій—о своихъ, въ прошломъ менѣе отдаленномъ—Магометъ и ап. Павелъ, въ болѣе глубокой древности легенда повѣствуетъ о Моисеѣ. Но, если бы я здѣсь и удесятерилъ количество приведенныхъ случаевъ, если бы даже ихъ удалось собрать тысячи—разумъ бы не могъ изъ нихъ сдѣлать никакого вывода,—иначе говоря, какъ научный матеріалъ, всѣ эти случаи не имѣютъ

никакой цѣнности, въ то время когда одинъ остовъ ископаемаго или единственный случай невиданной, рѣдкой болѣзни является драгоцѣнной находкой для ученаго. И, что еще интереснѣе: Декартъ былъ такъ пораженъ своимъ cogito ergo sum, Ницше своимъ вѣчнымъ возвращеніемъ, Магометъ своимъ раемъ, ап. Павелъ своимъ видѣніемъ—мы же остаемся болѣе или менѣе равнодушными ко всему, что они разсказываютъ о своихъ переживаніяхъ. Только наиболѣе чуткіе изъ насъ прислушиваются къ такого рода разсказамъ, и то даже они принуждены таить про себя свои впечатлѣнія,—ибо что съ ними прикажете дѣлать? Ихъ нельзя даже фиксировать въ качествѣ несомнѣнныхъ фактовъ, ибо и факты требуютъ провѣрки, должны быть доказаны. А доказательствъ нѣтъ. Философскія и религіозныя ученія, предлагаемыя людьми, пережившими необыкновенныя внутреннія событія, большей частью не только не подтверждаютъ, но скорѣе опровергаютъ ихъ собственные разсказы объ откровеніи. Ибо философскія и религіозныя ученія до сихъ поръ всегда задавались цѣлью привлечь къ себѣ всѣхъ и каждаго, а чтобы достичь этого, приходится прибѣгать къ такого рода пріемамъ, которые дѣйствуютъ на обыкновеннаго, не знающаго ничего необыкновеннаго, человѣка, т.-е. опять-таки къ доказательствамъ, къ ссылкамъ на видимыя и осязаемыя, подлежащія мѣрѣ, вѣсу и счету явленія. Въ погонѣ за доказательствами, за убѣдительностью и доступностью приходилось жертвовать самымъ важнымъ и существеннымъ и выставлять на видъ то, что можетъ быть согласовано съ разумомъ, т.-е. болѣе или менѣе уже извѣстное и потому мало интересное и неважное. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ такъ называемая опытная наука все больше и больше входила въ силу, привычка оставлять про себя все то, что не можетъ быть демонстрировано ad aculos, все прочнѣе и прочнѣй укоренялась и сдѣлалась почти второй природой человѣка. Мы теперь уже «естественно» дѣлимся съ ближними лишь небольшой частью нашего опыта, такъ что, если бы въ наше время жили Магометъ или Савлъ, то имъ бы и въ голову не пришло разсказывать о своихъ необыкновенныхъ исторіяхъ. На что уже былъ смѣлъ Ницше, а межъ тѣмъ о вѣчномъ возвращеніи онъ разсказываетъ лишь вскользь и гораздо больше занятъ проповѣдью морали Uebermensch'а, которая, хотя и поразила сначала людей, но все же въ концѣ-концовъ была принята съ большими или меньшими измѣненіями, ибо обладала доказательностью. Очевидно, мы стоимъ предъ великой дилеммой: если мы будемъ попрежнему культивировать современную методологію, мы рискуемъ до того свыкнуться съ ней, что потеряемъ способность не то что дѣлиться съ другими людьми всѣми недоказуемыми и исключительными переживаніями, но даже удерживать ихъ сколько-нибудь прочно въ своей памяти. Они станутъ такъ же забываться, какъ и сновидѣнія, они даже будутъ казаться снами наяву. И такимъ образомъ, мы себя навсегда отрѣжемъ отъ огромной области дѣйствительности, смыслъ и значеніе которой во всякомъ случаѣ еще далеко не разгаданы и не оцѣнены. Въ древнія времена умѣли и сновидѣнія, и галлю-

цинаціи сумасшедшаго пріобщать къ дѣйствительности; мы же идемъ къ тому, чтобы урѣзать настоящую, несомнѣнную дѣйствительность, переводя ее въ область галлюцинацій и сновидѣній. Полагаю, что даже современный человѣкъ безъ колебанія не станетъ на сторону нашей методологіи, если даже онъ и не способенъ думать, вслѣдъ за древними, что сновидѣнія далеко не столь ни на что не нужная вещь. А разъ такъ, то, стало быть, права переживаній отнюдь не должны опредѣляться степенью ихъ доказательности. Какъ бы странны, капризны наши переживанія ни были, какъ бы мало ни ладились они съ укрѣпившимися и господствующими представленіями объ обязательномъ характерѣ событій внутренней и внѣшней жизни,—разъ они имѣли мѣсто въ душѣ человѣка, они уже ipso facto пріобрѣтаютъ законное право фигурировать на-ряду съ самыми доказательными и доступными контролю и провѣркѣ, даже нарочитому эксперименту, фактами.

Скажутъ—мы тогда не гарантированы отъ злостныхъ обмановъ. Люди, никогда не бывшіе въ раю, будутъ выдавать себя за Магометовъ; все это вѣрно: будутъ говорить и будутъ лгать. И не будетъ способа объективной провѣрки. Но вѣдь будутъ и правду разсказывать. И, чтобы спасти такую правду, можно рѣшиться проплыть цѣлый океанъ лжи. Да, если угодно, вовсе не такъ уже невозможно въ этой области отличить правду отъ лжи, хотя, разумѣется, не по тѣмъ признакамъ, которые выработала логика. И даже не по признакамъ, а безъ всякихъ признаковъ. Вѣдь вотъ признаки прекраснаго еще до сихъ поръ даже и приблизительно не опредѣлены, и Богъ дастъ—не въ обиду нѣмцамъ будь сказано—никогда опредѣлены и не будутъ, а Аполлона и Венеру мы всетаки отличаемъ. Такъ и съ истиной: можно и ее узнать. А если кто не умѣетъ отличать безъ признаковъ, да вдобавокъ еще не хочетъ? Какъ быть съ нимъ? Право, не знаю; да притомъ я вовсе не полагаю, что необходимо, чтобы всѣ до одного дѣйствовали согласно. Да когда такъ было, чтобы всѣ дѣйствовали согласно? Люди большей частью дѣйствовали вразбродъ, сходясь въ однихъ мѣстахъ и расходясь въ другихъ. И, да будетъ такъ! Одни будутъ узнавать и искать истину по признакамъ, другіе безъ всякихъ признаковъ, какъ Богъ на душу положитъ, а третьи—по обоимъ способамъ.

Седьмой день творенія.

Сократъ разсказываетъ, что ему часто приходилось слышать отъ поэтовъ замѣчательныя по глубинѣ и серьезности мысли, но когда онъ началъ допрашивать ихъ подробнѣе, онъ убѣждался, что они сами не понимаютъ того, что говорятъ. Что собственно это значитъ? Хотѣлъ ли Сократъ въ данномъ случаѣ сравнить поэтовъ съ попугаями или учеными дроздами, которые могутъ затвердить при помощи ихъ учителя-человѣка какія угодно, совершенно недоступныя ими мысли? Едва ли такъ. Едва ли Сократъ думалъ, что то, что говорятъ поэты, подслушано ими у кого-либо и механически затвержено, хотя и осталось ихъ душѣ совершенно чуждо.

Вѣрнѣе всего онъ употребилъ слово «не понимаютъ» въ томъ смыслѣ, что они не умѣютъ доказать, объяснить правильность и основательность своихъ мыслей, т.-е. вывести и связать ихъ съ опредѣленнымъ міровоззрѣніемъ. Какъ извѣстно, Сократъ находилъ, что не только поэты, но и всѣ люди, начиная отъ выдающихся государственныхъ дѣятелей и кончая невѣжественными ремесленниками, имѣли сужденія и даже много сужденій, но никогда не умѣли ни объяснить, откуда эти сужденія пришли къ нимъ, ни согласовать ихъ межъ собою.

Въ этомъ отношеніи поэты были такими же людьми, какъ и всѣ прочіе люди: они добывали себѣ изъ какого-то таинственнаго источника истины, часто великія и глубокія, но ни доказать, ни объяснить ихъ не умѣли. Сократу показалось это большой бѣдой, даже настоящимъ несчастьемъ. Не знаю, какъ это случилось—ни одинъ историкъ философіи не объяснилъ этого, этимъ даже мало интересовались — но Сократъ почему-то рѣшилъ, что недоказанная и необъясненная истина имѣетъ меньше цѣнности, чѣмъ доказанная и объясненная. Въ наше время, когда сократовскую мысль превратили въ цѣлую теорію, даже міросозерцаніе,—это сужденіе кажется столь естественнымъ и само собою разумѣющимся, что въ немъ никто и никогда не сомнѣвается. Но въ древности дѣло обстояло иначе. Собственно говоря, Сократъ полагалъ, что поэты добывали свои истины, которыхъ они не умѣли доказать, изъ очень почтеннаго и заслуживающаго всякаго довѣрія источника: онъ самъ сравниваетъ поэтовъ съ оракулами и допускаетъ, стало быть, что они имѣютъ общеніе съ богами. Стало быть, есть превосходнѣйшая гарантія того, что поэты обладали настоящей, неподдѣльной истиной,—залогомъ ея неподдѣльности являлся божественный авторитетъ. Сократъ разсказываетъ, что и самъ онъ нерѣдко руководствовался въ своихъ дѣйствіяхъ не соображеніями своего разума, а прислушивался къ голосу своего таинственнаго демона. Иначе говоря, онъ иногда воздерживался отъ тѣхъ или иныхъ поступковъ (его демонъ никогда не давалъ ему положительныхъ совѣтовъ, а только лишь отрицательные), не будучи въ состояніи привести никакихъ резоновъ—единственно потому, что тайный, но болѣе авторитетный, чѣмъ всякій человѣческій разумъ, голосъ требовалъ отъ него воздержанія.

Такъ вотъ, не странно ли, что при такихъ обстоятельствахъ, въ эпоху, когда боги давали людямъ истины, вдругъ явилось у человѣка ничѣмъ не объяснимое желаніе добывать истины помимо боговъ и независимо отъ нихъ, путемъ примѣненія столь любимаго греками діалектическаго метода?! Спрашивается, что для насъ важнѣе: добыть истину или добыть себѣ собственными усиліями хотя бы и ложное, но *свое* сужденіе? Примѣръ Сократа, который явился образцомъ для всѣхъ дальнѣйшихъ поколѣній мыслящихъ людей, не оставляетъ никакого сомнѣнія. Людямъ готовая истина не нужна, они отворачиваются отъ боговъ, чтобы предаться самостоятельному творчеству. Въ Библіи разсказывается приблизительно такая же исторія. Чего, кажется, недоставало Адаму? Жилъ въ раю, въ непосредственной

близости къ Богу, отъ котораго онъ могъ узнать все, что ему нужно. Такъ нѣтъ же, это ему не годилось. Достаточно было змію сдѣлать свое коварное предложеніе, какъ человѣкъ, забывши о гнѣвѣ Божіемъ и обо всѣхъ грозившихъ ему опасностяхъ, сорвалъ яблоко съ запретнаго дерева. И тогда истина, прежде, т.-е. до сотворенія міра и человѣка—единая, раскололась и разбилась на великое, можетъ, безконечно великое множество самыхъ разнообразныхъ, вѣчно рождающихся и вѣчно умирающихъ истинъ. Это было седьмымъ, незаписаннымъ въ исторіи, днемъ творенія. Человѣкъ сталъ сотрудникомъ Бога, сталъ самъ творцомъ. Сократъ отказывается отъ божественной истины и даже пренебрежительно отзывается о ней только потому, что она не доказана, т.-е. не носитъ на себѣ слѣдовъ человѣческихъ рукъ. Вѣдь и самъ Сократъ ничего, собственно, не доказалъ, но онъ доказывалъ, творилъ и въ этомъ видѣлъ смыслъ своей и всякой человѣческой жизни. Поэтому, вѣрно, приговоръ дельфійскаго оракула кажется истиннымъ и въ наше время: Сократъ былъ мудрѣйшимъ изъ людей. И кто хочетъ быть мудрымъ, тотъ долженъ, подражая Сократу, ни въ чемъ на него не быть похожимъ. Такъ всѣ великіе философы, всѣ великіе люди и дѣлали.

Чему учитъ исторія философіи?

Неокантіанство, какъ извѣстно, является преобладающимъ направленіемъ въ современной философіи. Литература о Кантѣ разрослась до размѣровъ прямо неслыханныхъ. Но если попытаться разобраться въ колоссальной массѣ написаннаго о Кантѣ и поставить себѣ вопросъ, что, собственно, осталось намъ отъ кантовскаго ученія, то придется къ величайшему нашему изумленію отвѣтить: ровно ничего. Есть необычайно, неслыханно громкое имя Кантъ, и нѣтъ положительно ни одного кантовскаго тезиса, который бы въ неистолкованномъ видѣ сохранился бы до нашего времени. Я говорю въ неистолкованномъ видѣ—ибо истолкованія въ сущности сводятся къ произвольнымъ передѣлкамъ, часто даже съ внѣшней стороны утратившимъ всякое сходство съ оригиналомъ. Такія истолкованія начались еще при жизни Канта—первый примѣръ подалъ Фихте. Извѣстно, какъ на это реагировалъ Кантъ: онъ требовалъ, чтобы его ученіе понималось не по духу, а по буквѣ. И Кантъ былъ, конечно, совершенно правъ. Одно изъ двухъ: либо бери его ученіе такимъ, какъ оно есть, либо выдумывай свое. Но судьба всѣхъ мыслителей, которымъ суждено было давать свои имена эпохамъ, такова: ихъ истолковывали, т.-е. передѣлывали до неузнаваемости. Ибо по истеченіи короткаго времени выяснялось, что ихъ идеи до такой степени обременены противорѣчіями, что, если брать ихъ въ такомъ видѣ, въ какомъ онѣ вышли изъ рукъ ихъ творцовъ, онѣ окажутся абсолютно непріемлемыми. И въ самомъ дѣлѣ, всѣ тѣ критики, которые не рѣшали впередъ, что имъ нужно быть правовѣрными кантіанцами, приходили къ заключенію, что Кантъ не доказалъ ни одного изъ своихъ основныхъ положеній. Можно еще сильнѣй сказать: именно въ

силу того, что Кантъ, благодаря занятому имъ центральному положенію, привлекалъ къ себѣ очень много вниманія и подвергался очень тщательной критикѣ, постепенно выяснилось то, что, впрочемъ, можно было и впередъ знать: его ученіе состоитъ изъ сплошныхъ противорѣчій. Итогъ болѣе чѣмъ столѣтняго изученія Канта можетъ быть резюмированъ въ двухъ словахъ: несмотря на то, что онъ не *боялся* самыхъ вопіющихъ противорѣчій, ему не удалось сколько-нибудь убѣдительно доказать правильность своего ученія. При необычайной силѣ и глубинѣ ума, при оригинальности, смѣлости, остроуміи построеній—онъ, собственно, не далъ ничего такого, что могло бы неоспоримо считаться положительнымъ пріобрѣтеніемъ философіи. Подчеркиваю, что я высказываю не свое мнѣніе: я только подвожу итогъ мнѣніямъ нѣмецкихъ критиковъ Канта, тѣхъ самыхъ, которые создали ему monumentum aere perennius.

То же, что о Кантѣ, можно сказать о всѣхъ великихъ представителяхъ философской мысли, начиная съ Платона и Аристотеля и кончая Гегелемъ, Шопенгауэромъ и Ницше. Ихъ творенія поражаютъ силой, глубиной, смѣлостью, красотой и оригинальностью мысли. Пока читаешь ихъ, *кажется*, что ихъ устами говоритъ сама истина. И какія мѣры предосторожности принимали они, чтобъ не ошибиться! Они не вѣрили ничему изъ того, во что привыкли вѣрить люди. Они во всемъ методически сомнѣвались, все пересматривали десятки, сотни разъ. И какія жертвы они приносили: жизнь свою отдавали истинѣ—не на словахъ, на дѣлѣ. И все же итогъ тотъ же, что у Канта: *ни одному изъ нихъ* не удалось даже придумать систему, свободную отъ внутреннихъ противорѣчій. Аристотель уже критиковалъ Платона, скептики—ихъ обоихъ, и такъ до нашихъ дней, каждый новый, нарождающійся мыслитель борется со своими предшественниками, уличаетъ ихъ въ противорѣчіяхъ и заблужденіяхъ, хотя знаетъ, что самъ заранѣе обреченъ на такую же судьбу. Историки философіи изъ силъ выбиваются для того, чтобы скрыть эту наиболѣе рѣзко бросающуюся въ глаза, въ сущности ни для кого не составляющую тайны, черту философскаго творчества. Профаны и люди, которые вообще не любятъ думать и потому хотятъ презирать философію, указываютъ на отсутствіе единства среди философовъ, какъ на доказательство того, что философію не стоитъ изучать. Но и тѣ и другіе неправы. Исторія философіи не только не внушаетъ намъ мысли о преемственной эволюціи какой-нибудь идеи, но, наоборотъ, наглядно убѣждаетъ насъ въ противоположномъ: среди философовъ нѣтъ, не было и никогда не будетъ стремленія къ единству. И не найдутъ они, повидимому, и въ будущемъ свободной отъ противорѣчія истины, ибо истины, въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понимается людьми и наукою, они и не ищутъ—противорѣчія же ихъ, въ концѣ-концовъ, не пугаютъ, скорѣй—манятъ. Шопенгауэръ начинаетъ свою критику кантовской философіи словами Вольтера: дѣлать безнаказанно великія ошибки—привилегія генія. Мнѣ кажется, что здѣсь и кроется разгадка тайны философскаго генія. Онъ дѣлаетъ великія, величайшія ошибки—и

безнаказанно. Болѣе того, ему его ошибки въ заслугу ставятся, ибо дѣло не въ его истинахъ, не въ его сужденіяхъ, а въ немъ самомъ. Когда вы слышите отъ Платона, что видимая намъ жизнь есть только тѣнь; когда опьяненный Богомъ Спиноза славословитъ вѣчную необходимость, когда Кантъ заявляетъ, что разумъ диктуетъ законы природѣ,—вы, слушая ихъ, вовсе и не провѣряете, вѣрны или невѣрны ихъ утвержденія; вы соглашаетесь съ каждымъ изъ нихъ, что бы онъ вамъ ни сказалъ, и единственный вопросъ возникаетъ въ вашей душѣ: кто онъ такой, что говоритъ, какъ власть имѣющій. Впослѣдствіи вы отбросите отъ себя съ ужасомъ, можетъ, съ негодованіемъ и отвращеніемъ или даже совершенно равнодушно, всѣ ихъ истины. Вы не согласитесь признать, что наша жизнь есть только тѣнь настоящей дѣйствительности; вы возмутитесь противъ Бога Спинозы, который не можетъ любить, но требуетъ себѣ любви; категорическій императивъ Канта вамъ покажется холоднымъ чудовищемъ,—но вы никогда не забудете ни Платона, ни Спинозы, ни Канта, и навсегда сохраните благодарность къ нимъ—они заставили васъ повѣрить, что смертнымъ дана власть. И вы поймете тогда, что въ философіи нѣтъ заблужденій и истинъ; что заблужденія и истины—для того, надъ кѣмъ есть высшая власть, законъ, норма. Философы же сами созидаютъ законы и нормы: этому учитъ насъ исторія философіи, это есть то, что труднѣе всего усвоить и понять человѣку. Я уже говорилъ, что историки философіи выносятъ совсѣмъ иную мораль изъ изученія великихъ человѣческихъ твореній.

Наука и метафизика.

Въ своей автобіографіи Спенсеръ признается, что онъ, собственно говоря, никогда не читалъ Канта. У него была въ рукахъ «Критика чистаго разума» и онъ даже прочелъ начало—трансцендентальную эстетику, но это именно начало и убѣдило его, что дальше читать незачѣмъ. Разъ человѣкъ можетъ сдѣлать такое неправдоподобное допущеніе, какое сдѣлалъ Кантъ, признавши субъективность нашихъ формъ воспріятія—пространства и времени, съ нимъ уже нельзя серьезно считаться. Будетъ онъ послѣдовательнымъ, вся его философія окажется системой абсурдовъ и нелѣпостей; будетъ онъ непослѣдователенъ—тѣмъ менѣе онъ заслуживаетъ вниманія.

Спенсеръ убѣжденно утверждаетъ, что, разъ онъ не можетъ принять основное положеніе Канта, онъ уже не только не можетъ стать кантіанцемъ, но даже находитъ для себя излишнимъ дальнѣйшее знакомство съ философіей Канта. Что онъ не сталъ кантіанцемъ, въ этомъ бѣды мало—и безъ него кантіанцевъ достаточно; но что онъ не ознакомился съ главными трудами Канта и, главное, со всей школой, вышедшей изъ Канта; объ этомъ можно искренно пожалѣть. Можетъ быть, какъ свѣжій, далекій отъ традицій континента человѣкъ, онъ сдѣлалъ бы любопытнѣйшее открытіе: онъ убѣдился бы, что вовсе нѣтъ надобности принимать положе-

ніе о субъективности пространства и времени, чтобы стать кантіанцемъ. И, можетъ быть, со свойственной ему откровенностью и простотой, не боящейся прослыть за наивность, онъ сказалъ бы намъ, что ни одинъ кантіанецъ (кромѣ Шопенгауэра), даже самъ Кантъ, никогда не принималъ серьезно основныя положенія трансцендентальной эстетики и потому не дѣлалъ изъ нихъ ровно никакихъ выводовъ и заключеній. Наоборотъ, трансцендентальная эстетика *сама* была выводомъ изъ другого положенія—о томъ, что у насъ есть синтетическія сужденія a priori. Оригинальная роль этой дѣйствительно оригинальнѣйшей изъ когда-либо существовавшихъ теорій состояла въ томъ, чтобы служить опорой и объясненіемъ математическихъ наукъ. Самостоятельнаго, матеріальнаго содержанія, подлежащаго анализу и изученію, у ней какъ будто никогда и не было. Пространство и время суть вѣчныя формы нашего воспріятія міра—къ этому, по точному смыслу кантовскаго ученія, нельзя ничего прибавить, равно какъ отъ этого ничего убавить нельзя. Спенсеръ вообразилъ, не дочитавъ до конца книги, что Кантъ станетъ отсюда дѣлать заключенія—и испугался. Но если бы онъ дочиталъ книгу до конца, онъ бы убѣдился, что Кантъ никакихъ выводовъ не дѣлалъ, что весь смыслъ «Критики чистаго разума» въ томъ именно и состоитъ, что изъ положеній трансцендентальной эстетики никакихъ выводовъ дѣлать не полагается. И вотъ скоро уже полтораста лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ вышла «Критика чистаго разума». Ни одно философское сочиненіе столько не изучалось и не комментировалось, сколько эта критика. И тѣмъ не менѣе—гдѣ тѣ кантіанцы, которые пытались бы сдѣлать выводы изъ положенія о субъективности пространства и времени? Одинъ Шопенгауэръ представляетъ исключеніе. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, серьезно отнесся къ этой кантовской идеѣ,—*но можно* безъ преувеличенія сказать, что изъ всѣхъ кантіанцевъ менѣе всего похожъ на Канта именно Шопенгауэръ.

Міръ есть покрывало Майи—развѣ Кантъ согласился бы на такое толкованіе своей трансцендентальной эстетики? Или, что сказалъ бы Кантъ, если бы онъ услышалъ, что, ссылаясь все на ту же эстетику, въ которой Шопенгауэръ видѣлъ геніальнѣйшее философское откровеніе, этотъ послѣдній допускалъ возможность *ясновидѣнія и магіи?* Вѣроятно, Спенсеръ думалъ, что самъ Кантъ сдѣлаетъ всѣ эти выводы, и потому бросилъ книгу, обязывающую къ столь нелѣпымъ заключеніямъ. И жаль, что Спенсеръ поторопился. Если бы онъ ознакомился съ Кантомъ, онъ убѣдился бы, что самая нелѣпая идея можетъ сослужить очень полезную службу, и что вовсе нѣтъ нужды дѣлать изъ идеи всѣ выводы, къ которымъ она можетъ привести. Человѣкъ—существо свободное: хочетъ—заключаетъ, не хочетъ—не заключаетъ, и поэтому *судить по общимъ предпосылкамъ* о характерѣ философской теоріи нѣтъ никакой возможности. Даже Шопенгауэръ не использовалъ во всей полнотѣ кантовское открытіе, которое, если только оно, дѣйствительно, угадало скрывавшуюся до сихъ поръ отъ людей правду, должно было не-то что положить конецъ метафизическимъ изысканіямъ,

а, наоборотъ, дать толчокъ и поводъ къ совершенно новымъ, съ прежней точки зрѣнія прямо невѣроятнымъ и безумнымъ, опытамъ. Ибо разъ пространство и время суть формы нашего, человѣческаго воспріятія, стало быть они-то именно и скрываютъ отъ насъ послѣднюю истину. Пока люди ничего объ этомъ не знали и простодушно принимали видимость дѣйствительности за настоящую дѣйствительность, они, конечно, о настоящемъ познаніи не могли и мечтать. Но съ того момента, какъ имъ, благодаря проницательности Канта, открылась истина—ясно, что ихъ задача состояла именно въ томъ, чтобы какимъ угодно способомъ освободиться отъ шоръ и преодолѣть, стало быть, а не закрѣпить in saecula saeculorum всѣ тѣ сужденія, которыя Кантъ называетъ синтетическими сужденіями a priori. И метафизика, новая, критическая метафизика, давшая себѣ отчетъ въ томъ, въ какомъ глупомъ положеніи находились до сихъ поръ люди, видѣвшіе въ аподиктическихъ сужденіяхъ вѣчныя истины, должна была поставить себѣ великую задачу: отвязаться во что бы то ни стало отъ аподиктическихъ сужденій, какъ завѣдомо ложныхъ. Иными словами, задача Канта должна была бы быть не въ томъ, чтобъ остановить разрушительное дѣйствіе юмовскаго скептицизма, а въ томъ, чтобъ найти новый, еще болѣе сильный взрывчатый матеріалъ и разрушить даже тѣ преграды, которыя Юмъ принужденъ былъ сохранить. Вѣдь очевидно, что истина лежитъ за синтетическими сужденіями a priori! И что она вовсе не должна быть похожа на апріорное сужденіе, что она вообще не должна быть похожа на сужденіе!

И искать ее нужно совсѣмъ не такъ, какъ ее до сихъ поръ искали. До нѣкоторой степени Кантъ пытался изобразить, какъ онъ представляетъ себѣ скрывающійся подъ словами «пространство и время суть субъективныя формы воззрѣнія» смыслъ. Онъ даже и наглядный примѣръ представлялъ: можетъ быть,—говорилъ онъ,—что есть существа, воспринимающія міръ не въ формахъ пространства и времени. Это значитъ, что для такихъ существъ измѣненія не существуютъ. Все, что мы воспринимаемъ въ послѣдовательной смѣнѣ—они воспринимаютъ сразу. Для нихъ Цезарь и живетъ еще, и умеръ, для нихъ XXV вѣкъ по Р. Х., до котораго никто изъ насъ не доживетъ, и XXV вѣкъ до Р. Х., который мы съ такимъ трудомъ воспроизводимъ по случайно сохранившимся отрывочнымъ слѣдамъ прошлаго, отдаленный сѣверный полюсъ и даже тѣ звѣзды, которыя не видны въ телескопъ,—все такъ же доступно ихъ сознанію, какъ для насъ происходящія на нашихъ глазахъ событія. И тѣмъ не менѣе Кантъ, несмотря на весь *соблазнъ* добыть то знаніе, которое доступно такимъ существамъ, несмотря на свое глубокое убѣжденіе въ истинности своего открытія, пальцемъ о палецъ не ударилъ, чтобы разрушить очарованіе формъ воспріятія и категорій разсудка, чтобъ сорвать съ себя шоры и увидѣть всю глубину таинственной, доселѣ скрытой отъ насъ дѣйствительности. Онъ даже не объясняетъ сколько-нибудь обстоятельно, отчего онъ считаетъ такую задачу невыполнимой, и ограничивается догматиче-

скимъ утвержденiемъ, что человѣкъ не можетъ постигнуть дѣйствительность внѣ пространства и времени. Почему? Вѣдь это вопросъ такой огромной важности! Сравнительно съ нимъ отступаютъ на второй планъ всѣ вопросы «Критики чистаго разума». Какъ возможна математика, какъ возможны естественныя науки,—въ концѣ-концовъ даже и не вопросы по сравненiю съ тѣмъ, возможно ли намъ освободиться отъ условнаго человѣческаго знанiя, чтобъ добиться послѣдней, всеобъемлющей истины.

Кантiанцы въ этомъ отношенiи проявляютъ еще болѣе равнодушiя, чѣмъ Кантъ, и даже гордятся своимъ равнодушiемъ, ставятъ его себѣ въ высокую моральную заслугу. Они утверждаютъ, что истина вовсе не *за* синтетическими сужденiями a priori, а именно въ нихъ, и что не Творецъ надѣлъ на насъ шоры, а что эти шоры мы сами себѣ изобрѣли, и что всякая попытка снять ихъ съ себя и открытыми глазами посмотрѣть на мiръ—свидѣтельствуетъ о развращенности. Если бы теперь древнiй змiй явился соблазнять современнаго Адама, онъ ушелъ бы не солоно хлебавши. Ему и Ева не помогла бы: Ева XX столѣтiя учится въ университетѣ и уже въ достаточной степени притупила свою природную любознательность. Она превосходно говоритъ о телеологической точкѣ зрѣнiя и не менѣе мужчины защищена отъ искушенiя. Я не раздѣляю увѣренности Канта, что пространство и время суть формы нашего воспрiятiя, и не вижу въ этомъ откровенiя. Но, если бы я принялъ это апокалиптическое утвержденiе, если бы я могъ думать, что въ немъ кроется истина, я бы уже не ушелъ отъ него къ положительной наукѣ.

Жаль, что Спенсеръ не дочиталъ «Критики чистаго разума». Онъ убѣдился бы въ важной истинѣ: философу вовсе нѣтъ надобности считаться со всѣми выводами изъ своихъ предпосылокъ. Нужно лишь имѣть добрую волю, и изъ самой парадоксальной и подозрительной предпосылки можно извлечь выводы, вполнѣ согласные и со здравымъ смысломъ, и съ правилами добропорядочности. А такъ какъ воля Канта въ такой же мѣрѣ была доброй, какъ и воля Спенсера, то въ выводахъ они вполнѣ сошлись, хотя въ основныхъ положенiяхъ были такъ далеки другъ отъ друга.

Молчаливая предпосылка.

Шопенгауэръ первый въ философiи поставилъ вопросъ о цѣнности жизни. И далъ на него опредѣленный отвѣтъ: въ жизни гораздо болѣе страданiй и горя, чѣмъ радостей,—слѣдовательно, жизнь должна быть отвергнута. Прибавлю, что онъ, собственно, поставилъ вопросъ не только о цѣнности жизни, но и о цѣнности радости и страданiя. И на этотъ вопросъ далъ не менѣе опредѣленный отвѣтъ; радость, по его ученiю, всегда отрицательна, страданiе же всегда положительно. Стало быть, по самому существу своему, радость не можетъ искупить горя.

Во всемъ этомъ философскомъ построенiи—и въ постановкѣ, и въ разрѣшенiи вопроса—особенно любопытна и интересна одна молчаливая, невыраженная предпосылка. Шопенгауэръ исходитъ изъ предположенiя, что

его оцѣнка жизни, радости и страданія—для того, чтобы имѣть право называться истиной, должна заключать въ себѣ нѣчто общеобязательное и, въ силу того, совпадать въ послѣднемъ счетѣ съ оцѣнкой всѣхъ другихъ людей. Съ чего онъ взялъ это? Психологически, ходъ мысли Шопенгауэра понятенъ и легко объяснимъ. Онъ привыкъ къ научной постановкѣ и разрѣшенію вопросовъ, и въ занимающій его вопросъ онъ перенесъ пріемы изслѣдованія, которые, по общему признанію, обыкновенно приводятъ насъ къ истинѣ. Своей предпосылки онъ не провѣрялъ ad hoc, да и вообще вѣдь нельзя провѣрять предпосылку каждый разъ, когда въ ней является надобность. Ее даже не полагается выставлять на видъ, называть. Она разумѣется сама собой. Если основной признакъ всякой истины есть ея всеобщность и обязательность, то и въ данномъ случаѣ истиннымъ отвѣтомъ на вопросъ о цѣнности жизни будетъ лишь тотъ, который окажется пріемлемымъ безусловно для всѣхъ людей, даже для всѣхъ разумныхъ существъ. Такъ бы, вѣроятно, отвѣтилъ Шопенгауэръ, если бы кто-нибудь усомнился въ его правѣ на самую постановку въ такой общей формѣ вопроса о цѣнности жизни.

Однако, едва ли бы Шопенгауэръ былъ правъ. Это, между прочимъ, выясняется и изъ тѣхъ возраженій, которыя представляются его противникамъ. Его упрекаютъ въ томъ, что самая постановка вопроса предполагаетъ субъективную точку зрѣнія—эвдаймонизмъ.

Вопросъ о цѣнности жизни, возражаютъ ему, вовсе не рѣшается тѣмъ, даетъ ли въ общемъ итогѣ жизнь больше радостей, чѣмъ страданій, или наоборотъ. Жизнь можетъ быть глубоко мучительна и безрадостна, жизнь можетъ представлять изъ себя одинъ сплошной ужасъ—и всетаки быть цѣнной. Философія Шопенгауэра не обсуждалась при его жизни, такъ что онъ ничего не могъ отвѣтить своимъ противникамъ,—но если бы онъ былъ живъ еще, принялъ бы онъ эти возраженія и отказался бы отъ пессимизма? Убѣжденъ, что нѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я убѣжденъ, что и его противники оказались бы не менѣе стойкими и продолжали бы твердить свое: не въ радостяхъ, и не въ страданіяхъ дѣло,—мы оцѣниваемъ жизнь по совсѣмъ иному, автономному масштабу. И вотъ при этомъ спорѣ выяснилось бы, можетъ быть, для обѣихъ спорящихъ сторонъ, что предпосылка, о которой я упоминалъ выше и которую онѣ обѣ приняли, какъ не требующую доказательства и разумѣющуюся безъ объясненій, требуетъ и доказательствъ, и разъясненій, и не можетъ представить ни тѣхъ, ни другихъ. Для иного эвдаймонистическая точка зрѣнія является послѣдней и рѣшающей, другому она кажется презрѣнной и низменной, и онъ смысла жизни ищетъ въ какой-либо высшей, этической или эстетической цѣли. Бываютъ и такіе люди, которые любятъ горе и страданіе и въ нихъ видятъ оправданіе и источникъ глубины и значительности жизни. Я уже не говорю о томъ, что при подведеніи итоговъ жизни обыкновенно получаются у разныхъ счетчиковъ разные, прямо противоположные результаты, что возникаютъ неразрѣшимые споры по поводу тѣхъ или иныхъ частно-

стей. Шопенгауэръ, къ примѣру, находитъ, какъ мы видѣли, что страданія положительны, а радости—отрицательны. И отсюда заключаетъ, что ради самой большой радости не стоитъ подвергаться даже малой непріятности. Что можно отвѣтить ему? Какъ разубѣдить его? А межъ тѣмъ фактъ налицо: многіе смотрятъ совсѣмъ иначе на дѣло и ради одной радости готовы выносить множество очень серьезныхъ трудностей. Словомъ, предпосылка Шопенгауэра совершенно незаконна и не только не можетъ быть принята, какъ несомнѣнная истина, но должна быть квалифицирована, какъ несомнѣнное заблужденіе. Нельзя впередъ быть увѣреннымъ, что на вопросъ о цѣнности жизни можетъ быть данъ единый для всѣхъ обязательный отвѣтъ. Иными словами, мы сталкиваемся здѣсь съ чрезвычайно любопытнымъ, съ гносеологической точки зрѣнія, случаемъ. Оказывается, что на одинъ изъ важнѣйшихъ, можетъ быть даже на самый важный философскій вопросъ, по самому существу дѣла не можетъ быть данъ единообразный отвѣтъ. Если васъ спросятъ, что̀ есть жизнь: добро или зло, вы принуждены сказать, что жизнь есть и добро, и зло, и нѣчто совершенно индиферентное, стоящее внѣ добра и зла, и смѣсь добра и зла, въ которомъ больше добра, чѣмъ зла, и зла, чѣмъ добра и т. д.

И, подчеркиваю, каждый изъ этихъ отвѣтовъ, несмотря на то, что логически они другъ друга совершенно исключаютъ, въ правѣ претендовать на титулъ *истины*, такъ какъ, если онъ и не обладаетъ достаточной властью для того, чтобы заставить преклониться предъ собой другіе отвѣты, то во всякомъ случаѣ найдетъ въ себѣ силы, нужныя для того, чтобы отбить нападеніе противниковъ и отстоять свои суверенныя права. Вмѣсто единой и всевластной истины, предъ которой трепещутъ слабыя и беззащитныя заблужденія, вы имѣете предъ собою цѣлый рядъ прекрасно вооруженныхъ и защищенныхъ, совершенно независимыхъ истинъ. Вмѣсто королевскаго режима—феодальный строй. И феодалы крѣпко засѣли въ своихъ замкахъ: опытный глазъ сразу убѣждается, что ихъ укрѣпленія неприступны.

Я взялъ для примѣра ученіе Шопенгауэра о цѣнности жизни. Но многія философскія ученія, несмотря на то, что они исходятъ изъ предпосылокъ о единой, суверенной истинѣ,—являютъ намъ примѣры множественности истинъ. Обыкновенно думаютъ, что исторію философіи слѣдуетъ изучать затѣмъ, чтобъ воочію убѣдиться, какъ человѣчество постепенно преодолѣваетъ свои заблужденія и приближается къ послѣдней истинѣ. Я думаю, что исторія философіи должна приводить всякаго безпристрастнаго, не зараженнаго современными предразсудками человѣка къ прямо противоположному заключенію. Несомнѣнно, что существуетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые, какъ и вопросъ о цѣнности жизни, не допускаютъ по самому существу своему единообразнаго рѣшенія. Объ этомъ часто свидѣтельствуютъ люди, менѣе всего заинтересованные въ томъ, чтобъ опорочить королевскія прерогативы самодержавной истины. Наторпъ съ увѣренностью утверждаетъ, что Аристотель не то, что не понялъ, но

не могъ понять Платона. «Der tiefere Grund ist die ewige Unfähigkeit des Dogmatismus sich in den Gesichtpunkt der kritischen Philosophie überhaupt zu versetzen». Ewige Unfähigkeit—слово-то какое! И не о комъ-нибудь, а о величайшемъ изъ намъ извѣстныхъ человѣческомъ геніи—объ Аристотелѣ. Если бы Наторпъ былъ нѣсколько любознательнѣе, такого рода ewige Unfähigkeit должна была бы его обезпокоить, по крайней мѣрѣ, настолько же, насколько и философія Платона, о которой онъ написалъ большую книгу. Ибо мы тутъ, очевидно, стоимъ предъ величайшей загадкой; разные люди, смотря по ихъ душевной организаціи, осуждены еще въ утробѣ матери имѣть ту или иную философію. Догматики въ свою очередь говорятъ или могутъ говорить объ ewige Unfähigkeit ихъ противниковъ. Это напоминаетъ собою знаменитое кальвиновское толкованіе предопредѣленія. Богъ еще до рожденія осудилъ однихъ на гибель, другихъ на спасеніе, однимъ дано, другимъ не дано знать истину. И вѣдь не Наторпъ одинъ такъ разсуждаетъ: вся современная философія,—вѣрнѣе, всѣ современные философы, постоянно пререкающіеся межъ собою, подозрѣваютъ другъ друга въ *ewige* Unfähigkeit. Тѣхъ способовъ убѣжденія, которыми располагаютъ представители другихъ, положительныхъ наукъ, у философовъ нѣтъ: они не умѣютъ принудить всякаго къ нежелательнымъ заключеніямъ. Ихъ послѣднее ratio, ихъ личный взглядъ, ихъ личное убѣжденіе, ихъ послѣднее убѣжище—ссылка на вѣчную неспособность ихъ противниковъ понять ихъ. Тутъ для всякаго ясна трагическая дилемма. Одно изъ двухъ: либо на философію нужно совсѣмъ махнуть рукой, либо то, что Наторпъ называетъ ewige Unfähigkeit, есть не порокъ, не слабость, а великая добродѣтель, сила—до сихъ поръ еще не оцѣненная и непонятая. Дѣйствительно, Аристотель органически не могъ понять Платона, такъ же какъ Платонъ не могъ бы понять Аристотеля, какъ они оба не могли понять скептиковъ и софистовъ, какъ Лейбницъ не могъ понять Спинозу, Шопенгауэръ Гегеля и т. д. вплоть до нашихъ смутныхъ дней, когда ни одинъ изъ философовъ не можетъ понять никого, кромѣ самого себя. Болѣе того, философы не только не стремятся къ взаимному пониманію и единенію, но обыкновенно неохотно замѣчаютъ въ себѣ сходство со своими предшественниками. Когда Шопенгауэру указали на сходство его ученія съ ученіемъ Спинозы, онъ воскликнулъ: pereant qui ante nos nostra dixerunt. А межъ тѣмъ представители другихъ, положительныхъ наукъ, другъ друга понимаютъ, спорятъ рѣдко и не аргументируютъ никогда ссылкой на ewige Unfähigkeit своихъ товарищей. Можетъ быть, въ философіи, описанный выше, хаотическій порядокъ вещей и своебразная аргументація zur Sache gehören, можетъ быть здѣсь такъ и быть должно, что Аристотель не понимаетъ Платона, т.-е. не признаетъ его, матеріалисты вѣчно враждуютъ съ идеалистами, критицисты съ догматиками и т. д. Иными словами, та предпосылка, съ которой Шопенгауэръ приступилъ къ изслѣдованію вопроса о цѣнности жизни и которую, какъ мы указывали, онъ взялъ непровѣренной у представителей положительныхъ наукъ, эта пред-

посылка, вполнѣ примѣнимая на своемъ мѣстѣ,—совершенно не годится для философіи. И, на самомъ дѣлѣ, философы, хотя никогда и нигдѣ этого не разсказываютъ, гораздо болѣе цѣнятъ свои индивидуальныя убѣжденія, чѣмъ всеобщую и обязательную истину. Невозможность отыскать единую философскую истину безпокоитъ кого угодно, только не философовъ, которые, какъ только добудутъ для себя убѣжденія, нисколько не заботятся о томъ, чтобъ обезпечить имъ всеобщее признаніе. Они хлопочутъ только о томъ, чтобы освободиться отъ вассальной зависимости и пріобрѣсти для себя суверенныя права,—будутъ ли, на-ряду съ ними, существовать еще другія владѣтельныя особы, это уже ихъ сравнительно мало занимаетъ.

Слѣдовало бы попытаться такъ изложить исторію философіи, чтобъ указанная тенденція проявлялась въ ней съ достаточной ясностью. Это избавило бы насъ отъ многихъ предразсудковъ и расчистило бы путь для новыхъ, очень важныхъ, изысканій. Кантъ, раздѣлявшій мнѣніе, что истина для всѣхъ одна, былъ убѣжденъ, что метафизика должна быть наукой a priori, и, такъ какъ она не можетъ быть наукой a priori, то ей слѣдуетъ совсѣмъ перестать существовать. Если бы въ его время исторія философіи излагалась и понималась иначе, ему бы не пришло въ голову *такъ* оспаривать права метафизики. И, вѣроятно, онъ не сталъ бы огорчаться ни противорѣчивостью, ни бездоказательностью ученій разныхъ метафизическихъ школъ. Иначе вѣдь не можетъ и не должно быть. Человѣчество заинтересовано не въ томъ, чтобы положить конецъ разнообразію философскихъ ученій, а въ томъ, чтобы дать этому вполнѣ естественному явленію развиваться вглубь и вширь. Философы инстинктивно всегда стремились къ этому—оттого они и доставляли столько хлопотъ историкамъ философіи.

Первые и послѣдніе.

Въ первомъ томѣ «Menschliches, Allzumenschliches», написанномъ Ницше въ самомъ началѣ его болѣзни, когда онъ былъ далекъ еще отъ послѣдней побѣды и преимущественно разсказывалъ о своихъ пораженіяхъ, мы встрѣчаемъ слѣдующее замѣчательное, хотя наполовину невольное признаніе: die völlige Unverantwortlichkeit des Menschen für seine Handlungen und sein Wesen ist der bitterste Tropfen, welchen der Erkennende schlucken muss, wenn er gewohnt war in der Verantwortlichkeit und der Pflicht den Adelsbrief seines Menschenthums zu sehen.

Много горечи приходится проглотить испытующему духу,—но самое горькое—въ признаніи, что твои нравственныя качества, твоя готовность исполнить безропотно твой долгъ не даетъ тебѣ никакихъ преимуществъ предъ другими людьми. Ты думалъ, что ты благородный дворянинъ, даже владѣтельный князь, украшенный короной, всѣ же остальные люди—мужичье сиволапое, а ты—такой же мужикъ или такой же человѣкъ, какъ и всѣ прочіе. Adelsbrief—грамота, какъ оказывается, есть то, изъ-за чего исполнялся самый тяжелый долгъ, изъ-за чего приносились жертвы, что

составляло смыслъ жизни. И когда вдругъ выясняется, что никакихъ чиновъ и знаковъ отличія впереди не предвидится—это кажется ужасной, неслыханной катастрофой, геологическимъ переворотомъ,—жизнь теряетъ всякій смыслъ. Повидимому, это убѣжденіе, высказанное въ приведенныхъ словахъ съ такою трогательною откровенностью, было второй природой Ницше, справиться съ нимъ онъ не могъ до конца жизни. Что такое Uebermensch, какъ не титулъ, грамота, дающая право называться дворяниномъ среди мужичья? Что такое паѳосъ разстоянія и все ученіе Ницше о рангахъ? Формула по ту сторону добра и зла была далеко не такъ все уничтожающей, какъ это казалось на первый взглядъ. Даже наоборотъ, *пожалуй: уничтожая одни законы, начертанные на скрижаляхъ завѣта* стараго человѣчества, она какъ будто бы выявляла другіе, истершіеся отъ времени и потому для многихъ почти невидимые.

Вся нравственность, все добро an und für sich отвергается, но Adelsbrief, грамота тѣмъ болѣе растетъ въ своей цѣнѣ, становится если не единственной, то во всякомъ случаѣ главной цѣнностью. Жизнь теряетъ свой смыслъ, разъ титулы и чины будутъ уничтожены, разъ отнимается право высоко носить голову, выпячивать грудь и даже животъ, презрительно смотрѣть на окружающихъ тебя.

Для того, чтобы было понятно, до какой степени ученіе о рангахъ срослось съ человѣческой душой—я напомню слова Евангелія о первыхъ и послѣднихъ. Христосъ, который, кажется, говорилъ языкомъ совершенно новымъ, который училъ людей презирать земныя блага,—богатства, славу, почести, который такъ легко уступалъ все это кесарю, ибо считалъ, что только кесарю оно можетъ быть нужнымъ, самъ Христосъ, обращаясь къ людямъ, не счелъ возможнымъ отнять у нихъ надежду на отличіе. Послѣдніе здѣсь будутъ первыми тамъ. Какъ? И *тамъ* будутъ первые и вторые? Въ Евангеліи такъ сказано, потому ли, что и на самомъ дѣлѣ такое дѣленіе людей по рангамъ есть нѣчто изначальное, непреходящее, или потому, что Христосъ, разговаривая съ людьми, не могъ не говорить человѣческими словами. Можетъ быть, если бы не это обѣщаніе, если бы вообще не рядъ доступныхъ человѣческому пониманію обѣщаній—наградъ—Евангеліе не исполнило бы своей великой исторической миссіи, прошло бы совершенно незамѣченнымъ на землѣ, и никто бы не учуялъ и не призналъ бы въ немъ благой вѣсти. Христосъ зналъ, что отъ всего могутъ отказаться люди, только не отъ права первенства, отъ превосходства предъ своими ближними, отъ того, что Ницше называетъ Adelsbrief. Безъ этой прерогативы извѣстнаго рода людямъ жить нельзя. Они становятся тѣмъ, что нѣмцы называютъ такъ удачно Vogelfrei—лишенными покровительства законовъ, ибо въ *этомъ* единственный источникъ *ихъ* правъ. Грубая, безсмысленная, отвратительная дѣйствительность, *единственной* защитой отъ которой, *повторяю и подчеркиваю, является* Adelsbrief, неписанная грамота, все ближе, неотступнѣе и грознѣе подходитъ къ нимъ и предъявляетъ свои требованія. «Разъ ты такой же, какъ и всѣ прочіе люди,—

говоритъ она,—принимай отъ меня свой жизненный опытъ, исполняй свои будничныя повинности, хуже того, принимай отъ меня тѣ кары и внушенія, которымъ подвергается все непривилегированное сословіе—вплоть до тѣлеснаго наказанія». Какъ принять такія унизительныя условія тому, кто привыкъ думать, что онъ въ правѣ высоко нести свою голову, быть независимымъ и гордымъ человѣкомъ? Ницше съ тупой покорностью пытается проглотить ужасную горечь этого жизненнаго признанія—но мужества и выносливости, *его* мужества и выносливости нехватаетъ для этого величайшаго и труднѣйшаго подвига. Онъ не выноситъ ужаса безправной, не защищенной жизни—онъ снова ищетъ силы и власти, которая была бы *его* покровительницею и вернула бы ему отнятыя права. И не успокаивается до тѣхъ поръ, пока не получаетъ подъ инымъ названіемъ полное in integrum restitutio, всѣ принадлежавшія ему прежде права. И вѣдь не одинъ Ницше такъ поступалъ: вся исторія этики, вся исторія философіи есть въ значительной степени непрерывное исканіе преимуществъ и привилегій, грамотъ и хартій. Христіане Достоевскій и Толстой въ этомъ отношеніи нисколько не разнятся отъ врага христіанства—Ницше. Смиренный еврей Спиноза и столь же смиренный язычникъ Сократъ, идеалистъ Платонъ и реалистъ Аристотель, основатели новѣйшихъ благороднѣйшихъ и возвышеннѣйшихъ системъ—Кантъ, Фихте, Гегель, даже пессимистъ Шопенгауэръ—всѣ, какъ одинъ человѣкъ, добиваются грамоты, грамоты и грамоты. Очевидно, безъ грамоты жизнь здѣсь, на землѣ, обращается для «лучшихъ» людей въ безумный кошмаръ и становится невыносимой пыткой. Даже основатель христіанства, такъ легко отказавшійся отъ всѣхъ привилегій, *эту* привилегію счелъ возможнымъ сохранить для своихъ учениковъ, а можетъ быть, кто знаетъ? и для самого себя...

А между тѣмъ, если бы Ницше и другіе названные философы могли бы рѣшительно отвергнуть титулы, чины и почести, раздаваемые не только моралью, но и всѣми другими поставленными надъ человѣкомъ дѣйствительными и воображаемыми синедріонами, если бы они испили до дна *эту* чашу, можетъ быть они узнали бы, увидѣли и услышали—многое такое, чего никто и не подозрѣвалъ до сихъ поръ. Вѣдь путь къ познанію—это уже давно извѣстно—ведетъ черезъ великое самоотреченіе. Ни праведность, ни даже геній не даетъ тебѣ никакихъ преимуществъ предъ другими. Ты лишенъ, навсегда лишенъ покровительства земныхъ законовъ. Да и никакихъ законовъ нѣтъ даже. Сегодня ты царь, завтра—рабъ, сегодня ты Богъ, завтра—червякъ, и червякъ раздавленный; сегодня ты первый, завтра—послѣдній. И раздавленный тобою сегодня червякъ—завтра будетъ богомъ, твоимъ богомъ. Всѣ дѣленія и скалы, по которымъ отличались люди, стерты навсегда, и нѣтъ увѣренности, что однажды занятое тобой мѣсто останется за тобой. И вѣдь знали это всѣ философы, зналъ и Ницше, по опыту зналъ. Онъ былъ другомъ, союзникомъ и сотрудникомъ великаго Вагнера, провозвѣстникомъ новой эры на землѣ—и онъ же потомъ валялся въ прахѣ, разбитый и раздавленный. И второй разъ съ нимъ про-

изошло то же. Послѣ Заратустры онъ впалъ въ безуміе, точнѣе, обратился въ полуидіота. Правда, тайна второго паденія унесена имъ съ собою въ могилу. Но кой-что всетаки дошло до насъ, какъ ни скрывала его сестра отъ постороннихъ глазъ постигшую его метаморфозу. И вотъ мы спрашиваемъ: неужели въ рангѣ, въ грамотѣ, въ Adelsbrief сущность жизни? И развѣ можно понимать въ буквальномъ смыслѣ слова Христа о *первыхъ и послѣднихъ? Не есть ли всѣ синедріоны*, поставленные надъ человѣкомъ и яко бы осмысливающіе его жизнь, только фикціи—крайне полезныя и даже необходимыя въ извѣстные моменты жизни, но столь же вредныя, даже опасныя, чтобъ не сказать больше, при измѣнившихся обстоятельствахъ? Не начинается ли жизнь, самая настоящая, желанная жизнь, та, которую тысячелѣтія отыскиваютъ люди, тамъ, гдѣ нѣтъ первыхъ и послѣднихъ, праведниковъ и грѣшниковъ, геніевъ и бездарностей? Не есть ли погоня за признаніемъ, за превосходствомъ, за грамотами и хартіями, за рангами то, что мѣшаетъ видѣть человѣку жизнь съ ея скрытыми чудесами? И точно ли нужно человѣку искать защиты въ департаментахъ герольдіи, или есть у него иная, неистребимая временемъ сила? Можно быть добрымъ, умнымъ, ученымъ, даровитымъ, даже геніальнымъ человѣкомъ, но требовать себѣ какихъ бы то ни было привилегій за это—значитъ предавать и доброту, и умъ, и даръ, и геній, и величайшія надежды человѣчества. Послѣдніе здѣсь не будутъ нигдѣ первыми...

Л. Шестовъ.